



Полин Реаж

ИСТОРИЯ О

Полин Реаж гораздо опаснее маркиза де Сада,
ибо искусство гораздо убедительнее пропаганды.

The New York Times Book Review

Азбука-бестселлер

Полин Реаж

История О

«Азбука-Аттикус»

1954

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Реаж П.

История О / П. Реаж — «Азбука-Аттикус», 1954 — (Азбука-бестселлер)

ISBN 978-5-389-21448-4

С первой же публикации в 1954 году «История О» считается одной из самых подрывных книг в истории французской и мировой литературы. Написанный многолетней участницей редакционного совета крупнейшего французского издательства «Галлимар», журналисткой, переводчицей Т. С. Элиота, Вирджинии Вулф, Ф. Скотта Фицджеральда и Ивлина Во, обладательницей ордена Почетного легиона Доминик Ори (она же Анна Декло), многие годы скрывавшейся под псевдонимом Полин Реаж, этот роман – страстное любовное послание, предельно откровенный анализ истинных движений души, с которой сорваны все покровы, и революционный для своего времени взгляд на женскую сексуальность.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-21448-4

© Реаж П., 1954
© Азбука-Аттикус, 1954

Содержание

О счастье рабства	6
Барбадосский бунт	6
I. – Решительно, как в письме	7
II. – Беспощадная благопристойность	9
III. – Любопытное любовное послание	11
Правда о бунте	13
История О	15
I. Любовники в Руасси	15
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Полин Реаж

История О

© Е. Л. Храмов (наследники), перевод, 1999

© О. В. Тимашева, перевод предисловия, 2022

© Саша Мороз, послесловие, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство АЗБУКА®

О счастье рабства

Барбадосский бунт

Странный и кровавый бунт произошел в 1838 году на мирном острове Барбадос. Около двух сотен негров, мужчин и женщин, недавно освобожденных мартовским актом, пришли однажды утром к своему бывшему хозяину, некоему Гленелю. Они пришли умолять его взять их назад в рабство. Они прочитали наказы, переписанные для них пастором-анабаптистом. Потом завязался спор. То ли робость, то ли угрызения совести, то ли просто страх перед законами помешали Гленелю внять голосу бывших рабов. Тогда они после жестоких избиений убили его вместе со всей семьей. В тот же вечер негры вернулись в свои хижины, к обычным работам, к обычным разговорам, к исполнению обычных обрядов. Стараниями губернатора острова Макгрегора дело Гленеля было замято, процесс освобождения рабов продолжался. Что же касается записей их наказов, они так никогда и не были обнаружены.

Иногда я задумываюсь над этими собранными пастором записками. Очень похоже, что наряду со справедливыми требованиями об организации «рабочих домов» (workhouse), о замене плетей заключением в карцер, об отмене запрета на прогулы по болезни для «подручных» (так назывались новые, свободные работники) эти записки представляли собой апологию рабства. Там, к примеру, могло говориться, что рабство одного означает свободу для другого. Вряд ли кто-нибудь порадуетсся свободе дышать, он ее и не заметит. Но если я свободен играть на банджо до двух часов ночи, то мой сосед теряет свободу не слушать мою игру до тех же двух часов. Если мне удалось добиться свободы ничего не делать, то моему соседу придется работать за двоих. Известно, впрочем, что ничем не ограниченная воля к свободе ведет в нашем мире зачастую к таким же ничем не ограниченным войнам и конфликтам. Прибавьте к этому, что рабу предназначено самими законами диалектики стать, в свою очередь, господином, а бороться с законами природы, согласитесь, бессмысленно. Прибавьте, наконец, и то, что есть некоторое величие и даже удовлетворение в том, чтобы отдаться на волю другого (как это происходит с влюбленными и философами-мистиками) и увидеть себя – наконец-то! – избавленным от собственных наслаждений, приязней, комплексов. Словом, эта маленькая тетрадка барбадосских наказов и сегодня, так же как и сто двадцать лет тому назад, представляет собой ересь: это опасная книга. Но здесь речь пойдет о другой разновидности опасных книг. Речь пойдет об эротических книгах.

I. – Решительно, как в письме

Впрочем, зачем же определять эротические книги как опасные? Это, по крайней мере, неосторожно, ведь в этом случае они начинают притягивать к себе читателя. Мы обычно кажемся себе очень храбрыми, и нас тянет прочесть опасные книги, тянет к опасности. Не напрасно географические общества советуют своим членам воздерживаться во время путешествий от некоторых опасных маршрутов. Дело не в осторожности, это всегда попытка удержать их от соблазна подвергнуть себя риску (мы знаем, как охотно идут, например, на риск развязывания войны). Так каковы же эти опасности?

Есть по меньшей мере одна, которую я хорошо вижу со своего наблюдательного поста. Опасность не очень серьезная. «История О» – одна из тех книг, которые оставляют свой знак на читателе. Читатель подобной книги расстается с нею не совсем таким или совсем не таким, каким он с нею встретился. Любопытно, что и книги подвергаются влиянию и изменению – через несколько лет они становятся другими книгами. Их первые глубокомысленные критики довольно быстро покажутся несколько простоватыми. Что ж, тем хуже: критика никогда не должна останавливать боязнь показаться смешным. В таком случае проще всего признаться, что я здесь мало что понимаю. Мне забавно вступать в мир «Истории О», я вступаю в него как в волшебную сказку, ведь волшебные сказки – это своего рода эротические романы для детей, вступаю в один из тех заколдованных замков, который кажется навсегда покинутым. Однако чехлы кресел, пуфы, кровати под балдахином чисты и прибраны, хлысты и плети можно хоть сейчас пустить в дело; moreover, хлысты и плети готовы к делу, если можно так выразиться, по самой своей природе. На цепях нет и намек на ржавчину, ни одна плитка пола не затуманена испарениями. Если есть слово, которое прежде всего приходит на ум, когда я думаю об «О», то это слово «благопристойность». Крайне трудно было бы мне доказать справедливость этого слова. Что ж, я и не буду доказывать.

А еще этот ветер, неустанно дышащий ветер, который проносится по всем комнатам. И так же неустанно, как ветер, дышит в «О» некий могучий, чистый, беспримесный ум. Это ум решительный, его ничто не останавливает, ничто не смущает, он не вздыхает перед ужасами и не впадает в тошнотворный экстаз. Признаться, у меня несколько иной вкус: мне нравятся вещи, в которых автор не столь решителен, где он колеблется, где мы видим, в какие трудные ситуации заводит его сюжет, видим, что ему приходится сомневаться, сумеет ли он с честью выбраться из всех затруднений. Но «История О» с начала до конца создается словно в озарении. Это скорее речь, а не простое словоизлияние, письмо, а не дневник. Кому адресовано это письмо? Кого хочет убедить эта речь? Кому можно задать эти вопросы? Ведь я даже не знаю, автор, кто вы.

В том, что вы женщина, я почти не сомневаюсь. И не потому, что вы наслаждаетесь, описывая платья из зеленого атласа, корсеты, юбки, задираемые постепенно (так прядь волос наматывается на бигуди). Ваш пол мне подсказало совсем другое: в день, когда Рене готовится подвергнуть О новым мучениям, она замечает, что его домашние туфли износились, надобно купить новые. Это немыслимо: ни одному мужчине такое не пришло бы в голову. Во всяком случае он не осмелился бы это сказать.

О выражает, по-своему, конечно, мужественный идеал. Мужественный или по крайней мере мужской. Обратите внимание: женщина признается! Признается в чем? В том, в чем женщина во все времена и особенно в наше время никогда не признавалась. В том, в чем их всегда упрекали мужчины: в том, что они слишком слушают голос своей крови, в том, что в них все подчинено полу, даже разум. Они нуждаются в том, чтобы их постоянно содержали, кормили, мыли, наряжали, украшали и били. Им необходим хороший хозяин, который бы поостерегся быть добрым; как только мы проявим хоть чуть-чуть нежности, они используют все свои

средства, все свое умение увлекать, всю свою непосредственность, все обаяние, чтобы заставить нас полюбить их. Словом, когда идешь к женщине – бери плетку. Не много сыщется мужчин, которые не мечтали бы обладать Жюстиной. Но нет женщины, насколько мне известно, которая мечтала быть Жюстиной. Во всяком случае никто не станет мечтать об этом вслух, гордясь своими причитаниями и слезами, своей покорностью насилию, с таким аппетитом, с такой жаждой страдания до разрыва, до распада, до гибели. В женщине, способной на такое, таится рыцарь-крестоносец. Словно в вас существуют две натуры, или же тот, кому вы писали это письмо, постоянно был рядом с вами и вы переняли его вкусы и заговорили его голосом. Женщина – да, но какая? И кто же вы все-таки?

Во всяком случае «История О» пришла издалека. При чтении ее во мне возникает ощущение какого-то периода бездеятельности, словно бы пространство рассказа было спрятано долгое время во мраке, а потом автор вдруг раскрыл его, зажег над ним свет, сделал его видимым. Так кто же она, Полин Реаж? Может быть, всего-навсего обычная мечтательница, каких много (слушай свое сердце, говорят они, его никто не остановит). Или она дама с опытом, прошедшая через все это? Прошла и удивляется, почему это приключение, которое так хорошо началось – или, по крайней мере, так серьезно: с аскезы и воздаяния, – вдруг обернулось так плохо и закончилось каким-то сомнительным удовлетворением, ведь мы согласны в том, что О остается в этом закрытом заведении, куда привела ее любовь. Она остается там и чувствует себя недурно. Однако по этому поводу:

II. – Беспощадная благопристойность

Даже меня такой конец удивляет. Вы не заставите меня согласиться, что это настоящий конец. Что, так сказать, на самом деле ваша героиня добивается от сэра Стивена, чтобы он привел ее к смерти, что он снимет с нее железа только с мертвой. Очевидно, что сказано не все и эта пчела – я говорю о Полин Реаж – оставила для себя часть своего меда. Кто знает, может быть, в этот единственный раз она поддалась обычному писательскому соблазну, а не написать ли за несколько дней продолжение приключений О. Этот конец столь очевиден, что не стоило бы никакого труда написать его. Мы угадываем его совсем легко, без всяких усилий. Он словно сам просится нам в руки. Но вы, автор, как вы его придумали? Где разгадка этого приключения? Возвращаясь туда, я уверен, что найду ее, и все пуфы, кровати с балдахинами и цепи будут объяснены, и мы увидим, как среди них бродит эта мрачная фигура, этот призрачно-злоумышленник, полный темных желаний, каких-то чуждых дыханий.

Вот и приходится подумать, что в мужском желании есть что-то чужое, как бы исходящее извне. Бывают такие камни, внутри которых будто дует ветер, которые однажды начинают двигаться, издавать звуки, похожие на вздохи, а то и на игру на мандолине. Люди издали идут посмотреть на них. Однако первое желание при их виде – бежать от них, спастись, но притягивает музыка. Не так ли и эротические (опасные, если угодно) книги притягивают, будто могут что-то объяснить, успокоить нас на манер исповедника. Я хорошо знаю, что к этому обычно привыкаешь. Мужчины – они не так уж долго пребывают в затруднении, потом они примиряются с неизбежным и даже заявляют, что они сами это начали. Они лгут, а факты, если можно так выразиться, налицо, очевидные, слишком очевидные.

Мне возражат, что то же самое и с женщинами. Конечно, но у женщин это как-то не столь явно. Они всегда могут сказать, что нет, ничего нет. Как это благопристойно! Вот откуда идет мнение, что женский пол – это прекрасный пол, что красота по своей природе женственна. В том, что женщины прекраснее мужчин, я не уверен. Но они во всяком случае более сдержанны, меньше раскрываются, и в этом, разумеется, один из образов красоты. Вот уже второй раз я употребляю слово «благопристойность», говоря о книге, в которой такое понятие совершенно неуместно...

Но так ли это на самом деле? Действительно ли вопрос о благопристойности снят? Я не говорю о той пошлой и лживой благопристойности, которая довольствуется тем, что обманывает и самое себя: бежит от движущегося камня, а потом утверждает, что камень не двигался. Но есть другая благопристойность: неумолимая, скорая на расправу, всегда готовая карать. Она смиряет плоть настолько, что возвращает ей первобытную цельность, заставляет вернуться в те дни, когда желание еще не объявляло о себе и камни еще не пели. Опасно оказаться в руках такой благопристойности: менее всего она может удовлетвориться связанными за спиной руками, раздвинутыми коленями, распятым телом, а потом и слезами.

Может показаться, что я говорю ужасные вещи. Возможно, но ведь ужас – это насущный хлеб нашего существования, и опасные книги – это просто такие книги, которые возвращают нас к естественной жизни и естественной опасности. Какой влюбленный не испугался бы своих слов, полностью отдавая себе отчет в том, что он делает, клянясь быть верным на всю жизнь? Какая влюбленная способна хоть на секунду оценить само собой говорящиеся слова: «Я никого до тебя не любила... никто так не волновал меня, как ты»? Или другие, еще более продуманные – продуманные ли? «Я должна наказать себя за то, что была счастлива до встречи с тобой». Поймаем ее на слове. Это то, что нам нужно, пусть она служением оправдает эти слова.

Мучений и мучительств в «Истории О» предостаточно. Предостаточно ударов плетью, клеймения раскаленным железом, не говоря уж об ошейниках и выставлении напоказ на террасах. Здесь столько же пыток, сколько молитв в жизни отшельника, спасающегося в пустыне.

Эти пытки тщательно продуманы, и даже как будто им составлен реестр, и они отделены друг от друга счетными камешками. Далеко не всегда эти истязания доставляют удовольствие истязателям: Рене отказывается кое-что исполнять, а сэр Стивен если и соглашается, то скорее из чувства долга. Во всяком случае ясно, что это не слишком-то радует их. Они ни в коей мере не садисты. Все происходит так, словно сама О с самого начала требует, чтобы ее наказывали, насиловали во все время своего заточения.

Здесь как-то глупо говорить о мазохизме. Тот, кто это делает, прибавит к подлинной тайне книги тайну ложную, тайну языка. Что значит мазохизм? Что боль – это удовольствие, страдание радости, так сказать?

Возможно. Это одно из расхожих утверждений метафизиков. Они еще любят повторять, что всякое присутствие – это отсутствие, как всякое словоумолчание, я всего этого не отрицаю, хотя и не всегда понимаю, что они хотят сказать. Эти слова, безусловно, имеют свой смысл и, вероятно, приносят пользу. Но эта польза не отменяет, однако, нашего нового пристального наблюдения, и оно не будет наблюдением ни врача, ни психолога, ни тем более глупца. Мне опять возражат, речь идет о боли, которую мазохист умеет превратить в удовольствие, о страдании, из которого он непостижимым способом умеет извлечь чистую радость.

Вот это новость! Люди обрели наконец то, что они так прилежно искали в медицине, морали, философии и религиях: средство избежать боли или, по крайней мере, понимание того, как это сделать (источник этого – наши глупости или ошибки?). Вероятно также, они нашли его вовремя и отныне на все времена. Стоит напомнить, что мазохисты появились не вчера. Почему же тогда мазохистам, раз они такие умные, не были возданы почести, почему до сих пор не раскрыли для всех их секрет? Почему их не собрали во дворце всех вместе, чтобы лучше изучить, заточив в клетки?

Может быть, люди просто не задаются вопросами, остающимися без ответа? А жаль. Хорошо бы заставить людей вступить хотя бы насильно в контакт, вырвать их из состояния одиночества (химерическое желание, но мы живы химерами). Вот вам, читатели, и пример клетки, а в ней молодая женщина. Остается только выслушать ее.

III. – Любопытное любовное послание

Она пишет: «Напрасно ты удивляешься. Вглядишься получше в ту, кого ты любишь. Ты испуган, я вижу, ты испуган тем, что я женщина, и не просто женщина – я живая женщина. Ты потратишь на меня немало крови.

Твоя ревность тебя не обманывает. Это правда, ты меня заставляешь стонать от счастья, и я становлюсь в тысячу раз более живой. Однако я ничего не могу сделать, чтобы это счастье не обернулось против тебя. Даже истукан запоем громче, если по его отдохнувшему телу разливается кровь. Оставь меня в этой клетке, не корми меня, если можешь. Все, что будет приближать меня к болезни или смерти, сделает меня верной. Только тогда, когда ты меня заставляешь страдать, я в безопасности. Зачем ты согласился стать моим богом, у бога слишком много обязанностей, которые не доставляют удовольствия, во всяком случае ему нельзя быть нежным. Ты меня уже видел плачущей. Тебе только остается войти во вкус моих слез. Разве моя шея не очаровательна, когда ты ее сдавливаешь, а я едва сдерживаю крик. Абсолютно верно, что, идя к нам, нужно брать плетку. И не просто плетку, а многохвостую плеть».

Она прибавляет тотчас: «Какая глупая шутка! Но ты же ничего не понимаешь. Если бы я тебя не любила как сумасшедшая, неужели бы я осмелилась так говорить, предавать мое женское сословие?»

И вот что еще она пишет: «Мое воображение, мои туманные мечты предают тебя каждое мгновение. Утоми меня. Освободи меня от этих мечтаний. Займись мною. Поспеш, чтобы у меня не было ни секунды подумать о том, что я тебе неверна. (Действительность меньше всего занимает.) Заклейми меня. Если у меня на теле будет след от твоего хлыста или от твоих цепей, в губы будут вставлены кольца, тогда все увидят, что я тебе принадлежу. Сколько бы меня ни били, ни насиловали по твоей милости, я вся буду мысль о тебе, желание тебя и обладание тобой. Мне кажется, ты этого хочешь. Ведь я люблю тебя, поэтому и я этого хочу.

Если я однажды, раз и навсегда, перестала быть собой, если мой рот, мой живот, моя грудь не принадлежат мне больше, я становлюсь инородным созданием, все для меня изменяется в этом мире. Однажды, наверное, я ничего не буду знать о себе. Что тогда для меня будет удовольствие, что для меня будут ласки посланных тобою мужчин, я их не различаю, смогу ли я их сравнить с тобой?»

Так она говорит, я ее слушаю и вижу, что она не лжет. Я внимательно следил за ней (проституция и священная проституция – не исторический курьез, правда меня долго смущала). Очень возможно, что горящая туника мифов не простая аллегория в ставке. Очень возможно, теперь мне кажется, что эти рефрены – побрякушки примитивных песенок – и словечки вроде «Я умираю от любви» – не простые метафоры. А что говорят бродяжки своим друзьям-любникам: «Ты у меня в печенках. Делай со мной что захочешь». (Любопытно, как мы, отделяясь от чувства, которое нам непонятно, приписываем его проституткам и хулиганам.) Когда Элоиза писала Абельяру: «Я буду твоей девочкой для радости», она не просто выдумала красивую фразу, она так чувствовала. Но «История О» – самое дикое любовное послание, которое когда-либо получал мужчина.

Я вспоминаю Летучего Голландца, который должен был носиться над океаном, пока не найдется девушка, согласная его спасти ценой своей жизни; вспоминается мне и рыцарь Гигемар, который, чтобы излечиться от ран, ждет женщину, готовую страдать так, «как не страдала ни одна женщина». «История О» длиннее, чем лэ, и гораздо более обстоятельна, чем простое письмо. Может быть, и подходить к ней надо издалека. Легко ли сегодня понять язык уличных девчонок и мальчишек, так же как нам непонятны слова рабов Барбадоса. Мы живем в такие времена, когда самые простые истины могут вернуться к нам совсем голыми (как О) под маской гротеска.

Нормальные рассудочные люди охотно говорят о любви как о чувстве легком, без каких-либо серьезных последствий. Они говорят, что любовь доставляет удовольствие, что трение двух эпидерм не лишено очарования. Добавляют также, что очарование и удовольствие бывают более полными для тех, кто в любви фантазер, кто умеет удовлетворять капризы, сохраняя свою естественность и свободу. Я бы прибавил, что, если двум представителям разных полов (или одного) хочется отдаться друг другу, надо это делать радостно, без оков, зачем стесняться. Есть только два слова, которые меня при этом смущают: любовь и свобода. Это антиподы. Любовь – это зависимость не только в удовольствии, но и в своем существовании, а также в том, что этому существованию предшествует, – в желании быть. Любовь – это зависимость от десятков сложновыразимых вещей: от губ (от их гримасы или улыбки), от плеч (от того, как ими пожимают), от глаз (от влажного или сухого взгляда); в конце концов, от тела другого с его умом и душой, от тела, которое в каждое мгновение может быть ослепительным, как солнце, или холодным, как снежная пустыня. Совсем невесело через все это пройти, все наши будничные терзания в сравнении с этим смешны. Подумайте, как вздрагивает женщина, когда родное ей тело возлюбленного наклоняется к ее ногам, чтобы поправить язычок на туфельке; ей кажется, все видят ее страсть. Да здравствует хлыст, да здравствует ошейник... При чем же здесь свобода? Любой мужчина или женщина, которые через это прошли, скорее, будут рычать и ужасаться, исторгать ругательства по этому поводу. Ужасов в «Истории О» вполне достаточно. Но мне порой кажется, что в этой книге в неменьшей степени, чем женщина, подвергнуты пыткам особый образ мыслей, некая точка зрения.

Правда о бунте

Странная вещь это счастье в рабстве, оно дает нам пищу для размышлений. В семьях теперь нет речи о праве супругов на жизнь или смерть, в школах отменены телесные наказания, супружеские пары не помнят о том, что когда-то существовала для них карающая исправительная система, позволяющая загонять провинившихся в подземелье, а еще раньше и вовсе обезглавить. Чаще всего мы пытаем друг друга анонимно и незаслуженно. Более страшная современная пытка, конечно, – это город, сожженный во время войны в мгновение ока. Избыточная нежность отца, воспитателя или любовника оплакивается ударами бомб, напалмом или атомным взрывом. Все происходит так, как будто в мире в изъятии насилия существует равновесие, просто к насилию над человеком человечество утратило вкус, забыв его смысл. Я не сержусь на женщину, которая его обрела как подарок. И я даже не удивлен.

Вообще-то говоря, у меня не так много идей по поводу женского сословия, меньше, чем мужчины имеют обычно. Но я удивлен тем, что женщины, оказывается, тоже имеют какие-то соображения. Даже не просто удивлен, а очарован. И, как следствие этого, я начинаю думать, что они чудесны, и не перестаю им завидовать. Чему завидовать?

Я с грустью вспоминаю о своем детстве. Но грусть у меня вызывают не юношеские прозрения, о которых часто пишут поэты. Нет. Я вспоминаю о том времени, когда я чувствовал себя ответственным за всю землю, за весь земной шар. Я воображал себя то чемпионом по боксу, то поваром, то политическим оратором (и это тоже), то генералом, то вором, то краснокожим, то деревом, то скалой. Вы мне скажете, что я просто-напросто играл. Да, для вас, взрослые, я был занят игрой, но для меня все было иначе. Именно тогда я держал в своих руках весь мир, именно тогда я болел его болью и переживал все его опасности: я был универсален. Вот к какой мысли я хотел бы подвести.

Женщинам на протяжении всей их жизни дано быть детьми, которыми мы все когда-то были. Женщина способна делать многое из того, чего я решительно не умею. Она умеет шить. Она умеет готовить. Она знает, как разместиться в квартире и какие стили никак не могут сосуществовать (я не скажу, что она умеет делать все исключительно хорошо, но ведь и я тоже не был безупречным краснокожим). Женщина умеет еще многое другое. Например, она находит общий язык с кошками, собаками, она знает, как разговаривать с этими полусумасшедшими – с детьми, именно она первая учит их космологии и хорошему поведению, гигиене, рассказывает им сказки и т. д. вплоть до первых звуков на фортепьяно. Короче, мы мечтатели с детских лет, с того времени, когда в одном человеке жили тысячи других. Но кажется, что только женщине дано быть сразу всеми женщинами и мужчинами на земле. Вот что удивительно.

В наши дни часто повторяют, что все понять – это все простить. Может быть! Но мне казалось, что для женщин, наоборот, все простить – значит все понять (так они универсальны). У меня есть немало друзей, которые меня принимают таким, как я есть, и я их тоже принимаю такими, каковы они есть, и у нас никогда не было ни малейшего желания изменить друг друга. Более того, я наслаждался, и они тоже, со своей стороны, наслаждались тем, что каждый из нас так похож на самого себя. Но нет ни одной женщины, которая не хотела изменить мужчину, которого она любит, или сама не изменялась бы сразу, как только влюблялась. Все происходит так, будто пословица лжет. Достаточно все понять, чтобы никогда ничего не прощать.

Нет, Полин Реаж многое себе прощает. И я иногда думаю, что она не преувеличивает: все женщины подобны ее героине. Не один мужчина с ней охотно согласится.

Почему я так сожалею о пропавших требованиях негров Барбадоса? Потому, наверное, что тот блестящий, объединивший их в воззвание анабаптист, который приложил к ним руку, ограничился общими местами, тем, к примеру, что всегда существуют рабы (это очевидно);

тем, что они одни и те же (об этом можно поспорить), что нужно привыкнуть к своему сословию и не тратить зря время на наказания, а использовать его для игр, медитации или обычных удовольствий. Короче, мне кажется, что пастор не сказал всей правды, утаил ее: рабы Гленеля были просто влюблены в своего хозяина, они не могли жить без него, как без своих цепей. И вот тут звучит та же правда, что в «Истории О», та же решительность, та же непостижимая благопристойность. Как упрямый ветер дует через все щели закрытого дома, так сквозь толщу времен пробиваются оставшиеся без ответа вопросы.

Жан Полан

История О

І. Любовники в Руасси

И вот однажды ее любовник приводит О прогуляться туда, где они никогда не бывали прежде: в парк Монсури, в парк Монсо. Нагулявшись, они сидят рядом, у края лужайки, которой заканчивается парк. Здесь нет стоянки такси, но автомобиль со счетчиком стоит рядом. Похоже, что это такси. «Вставай», – говорит он. Она встает. Приближается вечер. Осень. Она одета по-обычному: туфли на высоких каблуках, костюм с плиссированной юбкой, шелковая блузка, без шляпы. Но длинные перчатки уходят под рукава ее костюма, и с собой кожаная сумка, где документы, пудра, помада. Такси плавно трогается с места, хотя ее спутник не сказал ни слова шоферу. Затем он задерживает занавески на стеклах: справа, слева, на заднем стекле. Она стаскивает перчатки, она думает: сейчас он захочет ее поцеловать или попросит ласки. Но он говорит: «Тебе неудобно. Дай мне сумку». Она отдает, он откладывает сумку подальше и добавляет: «На тебе слишком много надето. Отстегни застёжки, подвяжи чулки под коленями. Вот подвязки». Ей немного неловко: такси все ускоряет ход, да она и боится, не обернулся бы шофер. Но вот чулки спущены, и голым ногам как-то непривычно свободно под шелком комбинации. И болтаются бесполезные застёжки.

– Расстегни пояс и сними трусики.

Ну, это нетрудно: стоит только завести за спину руки и чуть-чуть приподняться. Он берет пояс и трусики из ее рук, открывает сумку и вновь ее защелкивает. Потом говорит: «Не садись на юбку. Подними сначала и юбку, и комбинацию. Так и сиди». Скользящий, холодный молескиновый сиденья чуть липнет к ее коже – странное ощущение.

Потом он говорит: «Теперь надень перчатки». А такси все едет, и она не решается спросить, почему Рене сидит молча, неподвижно и зачем ему нужно, чтобы и она, неподвижная и молчащая, столь обнаженная и столь доступная, в длинных перчатках, сидела рядом с ним в черной, неизвестно куда мчащейся машине. Он ничего ей не приказывает, ничего не запрещает, но она не решается ни закинуть ногу на ногу, ни сжать колени. Она сидит, опираясь обеими, одетыми в перчатки руками о сиденье.

«Приехали», – вдруг говорит он. Да, приехали: такси останавливается на красиво обсаженной платанами улочке, перед особняком с садом, напоминающим маленькие виллы предместья Сен-Жермен. Фонари светятся поодаль, в машине темно, снаружи идет дождь. «Не двигайся», – говорит Рене. – Ни малейшего движения». Он протягивает руки к воротнику ее блузки, распускает узел, расстегивает пуговицы. Она подается вперед: он хочет, наверное, ласкать ее грудь. Но нет, груди он лишь слегка касается, разрезая крохотным ножичком бретельки лифчика. Теперь под снова застегнутой блузкой ее голые груди так же ничем не стеснены, как свободны и обнажены ее бедра, ее живот – все от пояса до колен.

– Теперь слушай, – говорит он. – Ты уже готова. Здесь мы расстаемся. Ты выходишь и звонишь в дверь. Пойдешь за тем, кто тебе откроет, и будешь делать то, что тебе прикажут. Если сразу не войдешь – тебя вташат; сразу не подчинишься – тебя заставят... Сумка? Она тебе больше не пригодится. Теперь ты девка. Только девка, которую привез я. Да-да, я буду там. Ступай.

У начала этой истории есть и другая версия: более грубая и простая.

Молодая женщина, одетая точно так же, была привезена в автомобиле своим любовником и незнакомым другом. Незнакомец вел машину, любовник сидел рядом с нею, но не он, а именно незнакомец, незнакомый друг, объяснял молодой женщине, что ее любовнику поручено подготовить ее к тому, что ей свяжут за спиной руки, отстегнут и спустят до колен чулки,

освободят, кроме перчаток, от пояса, трусиков и лифчика и завяжут глаза. Что затем ее поместят в некий замок, где постепенно обучат всему, чем ей придется заниматься. И в самом деле, в этот раз ее, именно таким образом раздетую и связанную, после получасовой дороги вывели из машины, помогли подняться по нескольким ступенькам, пройти, все с завязанными глазами, через одну или две двери и оставили, сняв наконец повязку с глаз, в полном одиночестве и полном мраке ждать полчаса, час, два – не знаю, но ей они показались вечностью. Когда наконец двери открылись и загорелся свет, стало видно, что томилась она в комнате довольно обычного вида, правда, с некоторыми странностями: толстый ковер на полу и никакой мебели, кроме вделанных во все стены шкафов. Две женщины вошли в двери, две женщины, молодые и красивые, наряженные по моде прелестных служанок восемнадцатого столетия: длинные юбки, легкие и с напуском, прикрывающим ноги, тесные, обтягивающие грудь корсеты на шнурках или крючках, кружева на груди и полурукавчики. Глаза и рот подведены. Шею каждой обхватывало кольцо-ошейник, запястья – браслеты.

Итак, я знаю, что они развязали О стянутые за спиной руки и сказали, что надо раздеться: ее выкупают и подкрасят. Во время купания эти женщины были с нею в бассейне, а потом принялись причесывать, усадив в одно из тех парикмахерских кресел, которые наклоняются, когда вам моют голову, и выпрямляются, когда переходят к сушке. Обычно это длится по крайней мере час. Но здесь это продолжалось гораздо больше, и она все сидела в этом кресле, и ей не было позволено ни сдвинуть ноги, ни закинуть их одну на другую. Вот такой, бесстыдно раскрытой, и видела она себя в огромном, во всю стену, зеркале всякий раз, когда поднимала глаза.

Ее поддурмили, положили на веки тени, ярко покрасили рот, тронули розовой краской соски, а пурпурной – нижние губы, ей долго опрыскивали духами волосы под мышками и на лобке, бороздку между ляжками и ложбинку между грудями, ладони. Когда же она была готова, ее ввели в соседнюю комнату, где трехстворчатое трюмо и настенное зеркало позволили ей оглядеть себя со всех сторон. Ей было велено присесть на пуф перед зеркалами и ожидать. Пуф был покрыт черным, немного колющимся мехом, ковер был того же цвета, стены красными, и красные, без задников туфли у ее ног.

Огромное окно в стене маленького будуара выходило в прекрасный даже в темноте парк. Высоко над ним, в облаках, плыла луна, ветви деревьев качались под ветром, дождь перестал. Не знаю, долго ли оставалась О в красном будуаре, была ли она в самом деле одна, как думала, или кто-то разглядывал ее сквозь замаскированное окошко. Но я знаю, что, когда вернулись обе женщины, одна несла портновский сантиметр, а другая – корзинку. Их сопровождал человек в длинной фиолетовой мантии с рукавами, узкими в запястьях и широкими в пройме. При ходьбе мантия распаивалась, и видно было, что под нею нечто вроде трико в обтяжку, прикрывающее ноги и бедра, но оставляющее неприкрытым признак пола этого человека. Именно эта вещь сразу же бросилась в глаза О. Потом уже она увидела хлыст из узкой ременной кожи на поясе и то, что человек был замаскирован: на голове у него был черный капюшон и даже прорези для глаз закрывала черная же тюлевая сетка. Перчатки на нем были тоже черными, из тончайшего шевро.

Он обратился к О на «ты», сказал, чтобы она не шевелилась, а женщинам приказал потопиться. Та, что пришла с сантиметром, сняла мерку с шеи и запястий О. Размеры оказались, очевидно, стандартными, хотя и маленькими: вторая женщина быстро разыскала в своей корзине подходящие кольцо и браслеты. Вот что они собой представляли: полоски кожи толщиной с палец, снабженные системой замочков, автоматически защелкивающихся и отмыкаемых маленьким ключом; каждому замочку точно соответствовало металлическое ушко; зазор между ними был весьма невелик, но позволял усиливать или ослаблять обхват шеи и запястий. После того как все это было закреплено на шее и запястьях О, человек в мантии приказал ей встать, сам же сел на ее место на меховой пуф и притянул ее к себе. Поставив между колен, он рукой в перчатке погладил ее по бедрам и груди и объявил, что ее представление произойдет

в этот же вечер, после обеда, который она проведет в одиночестве. Она и в самом деле обедала одна; по-прежнему обнаженная, она сидела в некоем подобии каюты, и блюда ей подавали сквозь окошечко в стене невидимые руки. Обед закончился, и две женщины явились за нею. В будуаре они завели ей руки за спину и соединили вместе ушки ее браслетов. Потом накинули на плечи длинную красную накидку, укрепив ее с помощью ошейника. Накидка укрыла всю фигуру О, от шеи до пят, но при первых же шагах распахнулась, и запахнуть ее было невозможно – руки О были за спиной. Одна женщина двигалась впереди, открывая двери, вторая, следуя за О, закрывала их. Они прошли вестибюль, миновали две гостиные и очутились в библиотеке, где пили кофе четверо мужчин. Те же широкие длинные мантии, что и на первом, были на них, только масок они не надели. Однако О не успела разглядеть их и понять, здесь ли ее любовник (а он был здесь): кто-то из них повернул в ее сторону лампу и яркий, почти прожекторный свет ослепил О. Никто не двигался: ни две женщины по бокам О, ни четверо мужчин за столом, молча ее разглядывающих. Наконец яркий свет погас, женщины удалились. Но к тому времени на глазах О оказалась плотная повязка.

Потом ей приказали подойти ближе, и она подошла неверными, спотыкающимися шагами. Почувствовала, что стоит рядом с большим камином, подле которого сидели те четверо: жар пламени опалял ее, было слышно, как потрескивают поленья. Лицо ее горело. Две руки приподняли ее накидку, две другие, без перчаток, проверили соединение браслетов у нее за спиной и побежали вниз к крестцу; она вскрикнула от неожиданности, когда пальцы проникли в нее одновременно с обеих сторон. Кто-то рассмеялся, другой голос произнес: «Поверните-ка ее, надо посмотреть на грудь и живот». Ее повернули, и чья-то рука взяла ее за одну грудь, чей-то рот прижался к соску другой. Внезапно она потеряла равновесие и опрокинулась навзничь на подставленные руки... Чьи руки? Чьи-то руки раздвинули ноги, осторожно, медленно развели края губ. Волосы щекотали внутреннюю поверхность ее бедер. Она услышала: «Ее надо поставить на колени». Ее поставили. Ей было трудно стоять на коленях: сомкнуть ноги было запрещено, а связанные за спиной руки вынуждали ее наклониться вперед. Тогда ей позволили немного откинуться, полуприсесть на пятки, как это делают монахини.

– Вы никогда ее не связывали?

– Нет, никогда.

– И не секли?

– Тоже нет, но именно...

Отвечавший был ее любовник.

– Именно, – перебил его другой голос, – если вы изредка связываете ее, если немножко сечете, чтобы она почувствовала наслаждение, – тогда не надо. А надо именно постараться до этого момента заставить ее проливать слезы.

Ее подняли и собрались развязать, несомненно, лишь для того, чтобы опять привязать к какому-нибудь столбу или стене. Но кто-то запротестовал: сначала он хочет ее взять, тут же и немедленно. Ее снова поставили на колени; на этот раз она опиралась грудью на пуф, руки опять были заведены за спину и поясница высоко поднята. Один из мужчин, держа ее за бедра, погрузился в нее. Уступил место второму. Третьему захотелось пройти по более узкой дорожке, и, внезапно и грубо проникнув туда, он заставил ее завопить от боли. Когда он оторвался от нее, стонущей, с намокшей от слез повязкой на глазах, она бессильно соскользнула на пол. Оказалось, лишь для того, чтобы ощутить возле своего лица чужие колени и не уберечь рот... Наконец ее оставили, лежащую навзничь в своей красной хламиде перед большим огнем. Она слышала, как наполняют бокалы, пьют, двигают кресла, подбрасывают дрова в печь. И вдруг с нее сняли повязку. Комната с книгами по стенам слабо освещалась одной лампой на кронштейне и отблесками пылающих дров. Двое мужчин стояли и курили, третий, с хлыстом на коленях, расположился в кресле, а тот, кто, склонившись к ней, ласкал ее грудь, оказался ее любовник.

Но владели ею только что все четверо, и она не смогла отличить его от других.

Ей объяснили, что так будет всегда, пока она остается в замке: ей позволят видеть лица тех, кто ее насилует и мучит, но она никогда не узнает, кто был худшим из них. И при бичевании все будет обстоять подобным же образом, с той лишь разницей, что в первый раз, если она не захочет этого, ей не станут завязывать глаза, но тогда они наденут маски. Любовник поднял ее и посадил на ручку одного из кресел возле камина. Она выслушает сейчас все, что он должен ей рассказать, и увидит все, что ей надо увидеть. Он показал ей хлыст, черный, длинный и тонкий, с бамбуковой рукояткой в кожаном футляре – такие можно видеть в витринах шорных мастерских; кожаный бич, подобный тому, на поясе у первого мужчины, он был длинный, сплетенный из шести ремешков, связанных на конце в узел. Множеством узлов заканчивалось и третье показанное ей орудие – бич из веревок, похожих скорее на струны: так они были напряжены и поблескивали, словно их вымочили в воде. Чтобы она могла в этом убедиться, ей пощекотали этим бичом живот, раздвинули бедра, и она ощутила холодное влажное прикосновение к теплой коже внутренней стороны бедер. Были там и ключи, и стальные цепочки.

Во всю длину стены библиотеки, примерно на половине ее высоты, тянулось нечто вроде галереи, поддерживаемой с обеих сторон двумя стойками. В одну из них был вбит крюк: дотянуться до него можно было, лишь встав на цыпочки и высоко подняв руки. О сказали, что это ее любовник, обхватив одной рукой плечи, а другой низ живота, поддержал ее, когда она на мгновение потеряла сознание. Ей сказали, что ее руки развязали лишь для того, чтобы тут же притянуть ее с помощью тех же браслетов и цепочек к одному из столбов галереи. Только руки будут у нее теперь закреплены над головой, а двигаться она сможет, сможет поворачиваться и видеть, как ей наносят удары. Сечь ее будут по пояснице, заду, бедрам, короче – от пояса до ног, как раз по тем местам, которые были к этому подготовлены в автомобиле по дороге сюда (она вспомнила, как прилипал молескин сиденья к ее коже). Кому-то из присутствующих, вероятно, захочется оставить на ее коже длинные и глубокие, долго не стирающиеся отметины своего хлыста. Но все это не обрушится на нее беспрерывно: у нее будет возможность кричать, биться, уворачиваться от ударов, плакать. Ей дадут перевести дыхание, но затем приступят снова, причем судить о результате будут не по силе ее криков и слез, а по глубине и протяженности следов, которые удары оставят на ее коже. Ее внимание обратили на то, что этот метод оценки эффективности бичевания помимо своей точности хорош тем, что применим и вне стен замка, на свежем воздухе, в парке, к примеру, как это часто случается, в любом частном помещении, в любом гостиничном номере, словом, везде, где для того, чтобы заглушить крики и рыдания жертвы, приходится применять специально изготовленный кляп, и ей тут же этот кляп продемонстрировали.

Но сегодня в нем не было нужды. Напротив, они хотели услышать крики и стоны О и как можно скорее. Из чувства гордости она решила крепиться и молчать, но ее хватило ненадолго.

Они слышали все же ее мольбы о том, чтобы ее отвязали, чтобы остановились хотя бы на одну минуту, одну только минуточку. Увертываясь от жалящих укусов, она извивалась так иступленно, что порой поворачивалась на сто восемьдесят градусов, тем более что длина цепочки позволяла ей это, и животу ее, заду, передней стороне бедер доставалось не меньше, чем предназначенным для ударов частям тела. Тогда решили и в самом деле остановиться, туго опоясать ее веревкой, той же самой веревкой плотнее прикрутить к столбу и лишь после этого возобновить процедуру. Теперь ее торс несколько склонился набок и еще больше оттопырился зад. С этой минуты удары посыпались без промаха...

По тому, как завлек ее сюда любовник, О могла бы понять, что крики о сострадании – лучшее средство удвоить его жестокость: он наслаждался бы тем, что вырвал из нее эту мольбу, вернейшее доказательство его могущества. Это он первым заметил, что удары бича, под которыми она кричала с самого начала, оставляют мало отметин (в отличие от хлыста и веревочной плети) и тем самым заставляют продлевать страдание и позволяют истязанию длиться дальше.

Он же и попросил поэтому почаще использовать бич. Тем временем тот из четверых, который любил женщин лишь в одной, ничем не отличающейся от мужчин части тела, соблазненный так наглядно предложенным ему, выставленным напоказ задом, попросил сделать передышку, чтобы он мог воспользоваться предоставившейся возможностью. Раздвинув руками две обожженные ударами половинки, он, хотя и не без труда, проник туда, все повторяя, что надо бы сделать этот путь более проходимым. С ним согласились, нашли это вполне возможным и условились принять соответственные меры.

Наконец молодую женщину, пошатывающуюся и почти бездыханную под своей красной мантией, отвязали и усадили в большое кресло перед камином. Прежде чем возвратиться в свою келью, она должна была получить все сведения о деталях поведения не только во время ее пребывания в замке, но и в дальнейшей жизни, когда она замок покинет.

Вновь появились две молодые женщины. Они принесли то, что предстояло носить О во все время пребывания в замке, в чем надо было появляться перед гостями замка и теми, кому она будет принадлежать по выходе. Костюм ничем не отличался от одежды этих женщин: на очень тесный корсет на китовом усе и шуршащую от крахмала батистовую нижнюю юбку надевалось длинное платье с широкой юбкой, корсаж приоткрывал поднятые корсетом, окруженные кружевами груди. Юбка была белой, корсет и платье из сатина цвета морской волны, кружева белоснежны. Когда О была одета, женщины направились к выходу, но кто-то из мужчин остановил их. Попросив одну подождать, он схватил вторую за руку и подтащил к О. Развернув ее, одной рукой обнял за талию, другой задрал юбку, чтобы показать О, как он объяснил, для чего этот костюм и как ловко он устроен. Можно, добавил он, при помощи простого пояса оставить юбки в таком задранном положении, сколько будет угодно. Впрочем, по замку и по парку ходит немало женщин с задранными либо спереди, либо сзади юбками. Это, по его словам, очень практично в некотором отношении. Он приказал молодой женщине показать О, как это делается: юбка поднимается, закручивается кольцами, как это происходит с прядями волос в бигуди, и крепится тесным поясом либо спереди, чтобы открыть живот, либо сзади, чтобы показать ягодицы. На ягодицах молодой женщины виднелись свежие, как у О, знаки, оставленные хлыстом.

Вот какую речь держали затем перед О. «Вы здесь на службе у своих хозяев. В течение дня вы будете нести повинности по уходу за домом: подметать, приводить в порядок книги или ставить цветы или сервировать стол. Ничего более тяжелого вам не прикажут. Но по первому слову распоряджающегося вами или по его знаку вы должны будете оставить это занятие ради той единственной службы, которая заключается в том, чтобы предоставлять себя другим. Вам не принадлежат больше ни ваши руки, ни ваша грудь и, самое главное, ни одно из отверстий вашего тела. Мы можем использовать их, как нам заблагорассудится, мы будем погружаться в них как угодно глубоко. У вас нет права укрывать от нас что-либо. Вы никогда не должны сжимать губы, класть ногу на ногу или сдвигать колени (как вам это было запрещено при вашем прибытии). Ваш рот, ваше лоно и ваш зад открыты для нас в любое время. В нашем присутствии вы никогда не прикаснетесь к грудям; корсет поднимает их только для нашего пользования. В течение дня вы будете ходить в этой одежде и задрать юбку, как только вам это прикажут, чтобы вами мог воспользоваться каждый, кто пожелает и как пожелает, за одним исключением. Днем вас не могут подвергнуть сечению. Хлыст, бич и плетка могут прикасаться к вам только между заходом и восходом солнца, кроме тех случаев, когда вечером вас накажут за какой-то ваш дневной проступок. Что это за проступки? Недостаточная услужливость и нарушение правила, по которому вы никогда не должны поднимать глаз на того, кто с вами разговаривает или берет вас; никому из нас вы никогда не должны смотреть в лицо. В наших ночных одеяниях, в каком я сейчас перед вами, гениталии наши открыты вовсе не удобства ради, а для утверждения в вас сознания: вот мой господин, на котором сосредоточен сейчас мой взгляд, кому предназначено все во мне. Днем, когда мы будем одеты по-обычному, вы

обязаны придерживаться тех же правил. Единственная дополнительная трудность состоит в том, что вы должны по желанию кого-либо из нас сами освобождать нас от одежды и одевать нас, когда мы с вами закончим. По ночам же ваши руки будут связаны, и вы будете воздавать нам почести вашими губами, вашими раздвинутыми ляжками, вы будете обнаженной, такой же, какой вас сейчас привели сюда. Завязывать глаза вам будут только во время – поскольку вы уже видели, как это делается – бичеваний и подобных операций. Кстати, по этому поводу: вам придется привыкнуть к тому, что ежедневно вас будут подвергать порке. Но вовсе не для того, чтобы доставить нам удовольствие, а ради вашего пересоздания, вашего просвещения. В те ночи, когда ни у кого не будет нужды в вас, слуга, отвечающий за эту работу, нарушит уединение вашей кельи, чтобы вы получили то, что вам положено и к чему у вас не будет никакого желания. Дело в том, что эта процедура, а также цепь, которой вас прикуют к кровати, служат не столько тому, чтобы заставить вас испытывать боль, кричать, проливать слезы. Нет, но именно посредством этой боли, этого унижения вас заставят ощутить себя подневольным существом, вы проникнетесь сознанием, что полностью зависите от чего-то находящегося вне вас. Когда вы отсюда выйдете, вам наденут на безымянный палец железное кольцо. По нему вас смогут опознавать: с того самого момента вы обязаны подчиняться каждому отмеченному таким же знаком. Увидя это кольцо, он будет знать, что под платьем у вас ничего нет, что вы под платьем совершенно голая и что это предназначено ему.

Если вы проявите строптивость, вас приведут сюда и вы вновь окажетесь в своей келье».

Пока все это говорилось, обе женщины, одевавшие О, стояли по сторонам столба бичевания, не прикасаясь к нему. Они, казалось, боятся его тронуть – либо в нем было что-то пугающее, либо это им было запрещено, что выглядело более правдоподобно. Когда речь закончилась, они подошли к О, она поняла, что надо следовать за ними. Она встала, и ей пришлось подобрать юбки, чтобы не споткнуться, – привычки ходить в длинных платьях у нее не было, и в этих туфлях без задника, на чересчур высоких каблуках она чувствовала себя неуверенно: лишь лента из того же плотного атласа, что и платье, мешала ноге выскользнуть оттуда. Наклонившись, она бросила взгляд по сторонам. Женщины стояли в ожидании, мужчины на нее и не глядели. Ее возлюбленный, подняв колени, сидел на полу, опершись спиной о тот самый пуф, на который ее бросили в начале вечера, и поигрывал кожаным бичом. При первом же своем шаге она задела его юбкой. Он поднял голову, улыбнулся, встал и подошел к ней. Ласково погладил по плечам, кончиком пальцев тронул брови, нежно поцеловал в губы. Словно стараясь, чтобы его услышали, сказал громким голосом, что любит ее. О ужаснулась и своему ответу: «Я тоже тебя люблю», и тому, что это было правдой. Он привлек ее к себе, стал целовать в шею, в щеку. Она опустила голову на его покрытое фиолетовой мантией плечо. Он повторил, совсем тихо на этот раз, что любит ее, и добавил еле слышным шепотом: «Ты сейчас встанешь на колени, поласкаешь меня и поцелуешь...» С этими словами он осторожно оттолкнул ее и дал женщинам знак разделить и встать по обе стороны консоли, выступающей из стены. Он был высокого роста и, чтобы опуститься на низенькую консоль, ему пришлось согнуть длинные свои ноги. Одевание распахнулось, и основание консоли словно подняло еще выше его мужские стати, увенчанные светлой порослью. Трое других мужчин подошли поближе. О опустилась коленями на ковер, зеленое платье вздулось вокруг нее колоколом, корсет теснил грудь, и соски, выглядывавшие оттуда, оказались прямо против колен ее любовника. «Прибавьте-ка свету», – сказал кто-то. Немного понадобилось времени, чтобы поднести лампу и так направить ее лучи, что свет падал отвесно на тело Рене, на покорное, готовое ко всему лицо его любовницы, на ее руки, ласкающие низ его живота и бедра. Внезапно и резко Рене сказал: «Повтори еще раз: я тебя люблю». О повторила: «Я тебя люблю», повторила с наслаждением, и губы ее в тот же момент коснулись сладчайшего выступа его плоти, пока еще прикрытого нежной оболочкой. Трое мужчин, покуривая, комментировали каждый жест О, движения ее сомкнутых губ, сжимающих чужую плоть, плавность, с которой она вздымалась и опускалась,

ее побледневшее лицо, слезы, выступавшие на ресницах всякий раз, когда набухшее тело в своем стремлении вперед достигало ее глотки, прижимая язык и вызывая позыв к тошноте. И этот рот, словно бы заткнутый неким горячим кляпом, смог все-таки выдавить из себя слова: «Я люблю тебя». Две женщины стояли слева и справа от Рене, чтобы он опирался руками на их плечи. Слова наблюдателей смутно доносились до О сквозь стоны ее возлюбленного, все ее внимание было сосредоточено на нем, на том, чтобы ласки ее были бесконечно медленны, как он – она это знала – любит. О понимала, что у нее красивый рот, потому что соблаговолил ее любовник погрузиться туда, соблаговолил выставить напоказ эти ласки, удостоил ее наконец принять его излияния. Она принимала его, как принимают бога, слушая, как он кричит, слыша смех других, и когда она получила все, она рухнула наземь и простерла перед ним ниц. Две женщины подняли ее и на этот раз увели из библиотеки.

Туфли шлепали по красным плитам коридора мимо аккуратных скромных дверей с крошечными замками, как у дверей номеров в больших гостиницах. О размышляла, можно ли спросить, заняты эти номера и кем именно, когда одна из ее спутниц, чьих голосов она еще ни разу не слышала, сказала:

– Вы будете жить в красном крыле, а слугу вашего зовут Пьер.

О сразу же отметила, как чисто звучит этот голос.

– Какого слугу? А как вас зовут?

– Меня зовут Андрэ.

– А я Жанна, – сказала вторая, а первая пояснила:

– Это слуга, у которого ключи, который будет приковывать, и связывать, и развязывать вас, и сечь, когда вы будете наказаны, а другим будет некогда этим заниматься.

– Я в красном крыле с прошлого года, – сказала Жанна, – и Пьер уже был здесь. Он часто приходил по ночам; у слуг есть ключи, и в комнатах, составляющих их крыло, они имеют право на наше обслуживание.

О хотела спросить, что из себя представляет Пьер, но не успела. Перед поворотом коридора ее остановили возле двери, ничем не отличающейся от других. На скамейке между двумя дверьми она увидела какого-то краснорожего крестьянина, коренастого, с почти наголо выбритой головой, с маленькими, черными, глубоко посаженными глазками. Одет он был, как слуга из оперетки: рубашка с кружевным жабо, черный жилет под короткой красной курткой, черные штаны, белые чулки, лакированные туфли-лодочки. На поясе – все тот же сплетенный из кожаных ремешков бич. Руки поросли рыжими волосами. Он вытащил из жилетного кармана ключ, открыл дверь и, впуская всех троих, проговорил: «Я запираю. Позвоните, когда закончите».

Келья оказалась совсем крошечной, но состояла из двух частей. Та, что примыкала к двери в коридор, считалась как бы передней; там же была и дверь в ванную комнату. Напротив двери имелось окно. К стене слева было придвинуто изголовье большой четырехугольной кровати, очень низкое, покрытое мехом. Никакой другой мебели, ни одного зеркала. Стены ярко-красного цвета, черный ковер. Андрэ обратила внимание О на то, что кровать была не кровать, а скорее поставленный на платформу громадный матрац, покрытый черной длинноворсистой тканью, имитирующей мех. Подушка плоская и твердая, покрывало двуслойное. Единственный предмет, украшавший голую стену, – блестящее металлическое кольцо, укрепленное на той же высоте над кроватью, что и подобное кольцо в столбе над полом библиотеки. От него спускалась к кровати металлическая цепь, звенья которой в беспорядке лежали сейчас на покрывале. Цепь заканчивалась крючком, похожим на те, какими крепятся портьеры.

– Мы должны помочь вам принять ванну, – сказала Жанна, – я сниму с вас платье.

Они раздели ее донага, спрятали платье в шкаф возле умывальника, где уже находились ее туфли и красная накидка, и лишь тогда позволили войти.

Особенностями ванной комнаты было лишь большое кресло «а ля тюрк» в углу да стены, сплошь покрытые зеркалами. Когда О пришлось присесть на корточки над фарфоровым цоко-

лем, она увидела себя посередине десятков отражений, выставленной напоказ, подобно тому, что было в библиотеке. Андрэ и Жанна не покинули ее и здесь.

– Подождите, – сказала Жанна, – вот придет Пьер, и вы увидите...

– При чем тут Пьер?

– Когда он придет вас приковывать, он, может быть, заставит вас присесть при нем на корточки.

О почувствовала, что бледнеет.

– Но почему?

– Вы еще поблагодарите, – загадочно сказала Жанна. – Но вам повезло.

– Почему повезло?

– Это ваш любовник привез вас сюда?

– Да, – сказала О.

– Дальше с вами будут куда суровее.

– Я не понимаю...

– Поймете очень скоро. Я звоню Пьеру. Мы придем за вами завтра утром.

Андрэ улыбнулась, уходя, а Жанна задержалась на мгновение и ласково потрепала озадаченную О за сосок. О стояла у подножия кровати совершенно голая, если не считать ошейника и браслета, кожа которых, высыхая, стягивалась все туже. «Итак, милая дама», – услышала она голос вошедшего слуги. Он взял ее за руки, сцепил кольца обоих браслетов с кольцом ошейника. Теперь ее сложенные вместе руки были подняты к горлу, как бы в позе молящейся. Оставалось приковать ее к стене цепью, лежавшей на кровати. Слуга отцепил крючок на конце цепи, чтобы укоротить ее. О пришлось податься вперед, к изголовью кровати. Цепь звякнула о кольцо и натянулась так, что молодая женщина могла только или лежать поперек кровати, или стоять по любую сторону изголовья, не отходя от него. Слуга уложил О, накрыл ее покрывалом, но сначала на минуту задрал ее ноги, прижал их к груди и внимательно исследовал промежность. Больше он не прикоснулся к ней, не произнес ни одного слова, погасил лампу, висевшую между дверями в передней, и вышел.

Лежа на левом боку, в вынужденной неподвижности, одна среди мрака и безмолвия, О спрашивала себя, почему столько сладости примешивается в ней к страху и почему сам этот страх так сладок. Но одна вещь среди других была для нее непереносимо мучительна: связывание рук. Не потому, что руки могли бы ее защитить (да и хотела ли она защититься?), но они, оставаясь свободными, могли бы выразительно жестиковать, могли отталкивать другие жадные руки, хватающие ее, чужую плоть, стремящуюся в нее проникнуть, она могла подставить их под удары бича. Если бы освободить руки! А так ее собственное тело оказалось для нее недоступным; как странно не иметь возможности прикоснуться к своим коленям, к впадине своего живота. Обжигающие ее жаром между ногами губы были для нее запретным плодом. Они и пылали так, потому что она знала, что они открыты для всякого, даже для слуги Пьера, стоит ему только пожелать. Она удивлялась тому еще, что так равнодушна к воспоминаниям о хлыстах, биче, плетках, а вот невозможность узнать, кто же из мужчин дважды проникал в нее сзади, и был ли это один и тот же, или их было двое, и не оказался ли Рене в их числе, мучает ее несказанно. Она перевернулась на живот и лежала так, вспоминая, как любил он эту бороздку между ягодицами, куда до этого вечера (если только это был он) не смог ни разу проникнуть. Хорошо, если б это был он! Она его спросит об этом! Нет, никогда. Она снова увидела его руку, как она забирает у нее пояс и трусики, как протягивает круглые подвязки для чулок. Таким явственным был этот образ, что она забыла о связанных руках, но звякнула цепь... А почему, если память о мучениях так легка для нее, одна мысль, одно слово, один взгляд на бич заставляют бешено колотиться ее сердце и зажмуривать от страха глаза. Если бы это был только страх. Внезапно ее охватил панический ужас: ее поднимут за цепь, поставят на кровати и будут сечь. Прижмут животом к стене и будут сечь. Будут сечь, будут сечь, будут сечь – слова эти

кружились в ее голове. Пьер будет ее сечь, так сказала Жанна. Вам повезло, сказала она еще, — с вами будут суровее. Что имела Жанна в виду? Она не чувствовала больше ни ошейника, ни браслетов, ни цепи. Ее тело поплыло по течению... Она потом поймет... потом... потом...

Так она и заснула.

На исходе ночи, когда она становится еще непрогляднее и холоднее, перед самым рассветом Пьер появился снова. Он включил освещение в ванной комнате, и светлый прямоугольник, проникший через открытую дверь, лег на кровать и на маленькую, скорчившуюся фигурку О. Пьер молча откинул покрывало. О спала на левом боку, лицом к окну, поджав колени и выставив белеющий на черном фоне мехов зад. Пьер вытащил из-под ее головы подушку, вежливо произнес: «Не угодно ли вам встать?» Она приподнялась на коленях, насколько ей позволяла цепь, а он, взяв ее за локоть, помог ей выпрямиться и повернул лицом к стене. Прямоугольник света лежал на ее теле, но фигура Пьера была скрыта полумраком. Она не видела его движений, но догадалась, что он вынул цепь из карабина и соединил с другой петлей, еще более ограничив свободу передвижения О. Она не видела, что теперь у него на поясе не ременной бич, а легкий хлыст, подобный тому, какой она испытала дважды на себе возле столба. Рука Пьера легла ей на талию, матрац немного просел, потому что Пьер поставил на кровать правую ногу, чтобы поддержать О. И тут же О почувствовала, как жгучая боль опоясала ее поясницу. Она вскрикнула. Пьер хлестал ее изо всех сил, стараясь наносить каждый удар выше или ниже предыдущего, чтобы линии рисунка не пересекались. После четырех ударов он остановился, она все плакала, и слезы лились из ее глаз ручьем. «Попросил бы вас теперь повернуться», — сказал он. Ошеломленная О, наверное, не могла расслышать приказания, и тогда он схватил ее за плечи, все еще не выпуская хлыста из рук, так что его жало коснулось, на этот раз легко, ее поясницы. Когда О оказалась лицом к нему, слуга сделал шаг назад и с силой опустил хлыст на живот женщины. Все это заняло минут пять. Когда он вышел, погасив свет и закрыв дверь в ванную, стонущая от боли О, покачнувшись, сползла на цепи вниз по стене, во мрак. Онемевшая, застывшая, она прижалась к стенке кровати, и блестящая перкаль казалась ее истерзанной коже охлаждающим компрессом. А там, снаружи, занимался день. Огромное окно кельи выходило на восток, было вровень с землей и ничем не занавешено. Красная ткань, покрывавшая все стены, была собрана большими складками по краям окна. О наблюдала явление зари. Медленная, бледная заря осторожно тащила дымку по головкам астр, столпившихся под окном, и наконец вывела из тумана тополь. Желтые листья, кружась, хотя не было ни малейшего ветра, падали время от времени наземь. Заросли лиловых астр под окном тянулись до лужайки, а за нею начиналась аллея. Заря разгоралась все ярче и ярче, наступило утро, и О, все такая же неподвижная, смотрела, смотрела, смотрела... Садовник с тачкой показался в конце аллеи, было слышно, как визжат колеса по гравию. Если б он подошел ближе, окно было так велико, а комнатка так мала и ярко освещена, он мог бы увидеть прикованную нагую О, различить следы хлыста на ее теле. Рубцы вспухли, стали темно-красного цвета, куда более густого, чем красный цвет стен. Где спит сейчас ее любовник, он так всегда дорожил утренним сном. Знал ли он, на какие муки ее обрекает? А может быть, он сам и придумал их? О подумала об узниках, о тех, кого она видела на гравюрах в книжках по истории, их тоже приковывали, хлестали бичами; так много лет прошло с тех пор, даже веков, они все давно умерли. Она не хочет умирать, но, если этими мучениями она должна заплатить за то, чтоб ее продолжали любить, она хочет, чтоб он был доволен, зная, что она подчиняется ему и ждет, безмолвная, полная нежности, чтоб он пришел и увел ее к себе.

Ни у одной женщины не было ключей ни от дверей, ни от цепей, ни от ошейников, ни от браслетов, но все мужчины носили на кольцах три сорта ключей, которые открывали соответственно все двери, все замки, все ошейники. Были ключи и у слуг. Но по утрам ночные слуги спали, и замки открывал или кто-нибудь из господ, или дневной слуга. Человек, вошедший утром к О, был в кожаной куртке, кавалерийских бриджах и сапогах. Она не узнала его.

Первым делом он снял цепь со стены, и О могла лечь на кровать. Перед тем как развязать запястье, он провел рукой между ее бедер, как это делал тот в маске и перчатках в маленьком красном салоне. Может, это и был он? Костистое изможденное лицо, взгляд прямой, как на портретах старых гугенотов, волосы тронуты сединой. О выдержала его взгляд какое-то время и вдруг похолодела, вспомнив, что запрещено смотреть в лицо господам, вообще нельзя обращать взгляд на все, что выше пояса. Она закрыла глаза. Послышался сухой смешок и голос: «Отметьте, чтобы ее наказали после обеда». Это говорилось для Андрэ и Жанны, вошедших вместе с ним и застывших сейчас по обе стороны кровати. После этого он вышел. Андрэ подняла упавшую на пол подушку, покрывало, сброшенное Пьером во время ночного визита. Жанна тем временем придвинула к изголовью кровати круглый столик, на котором были кофе, молоко, сахар, хлеб, масло и круассаны. «Ешьте скорее, – сказала Андрэ. – Уже девять часов. Потом вы можете спать до полудня и, когда услышите звонок, знайте, что вас зовут к завтраку. Вы примете ванну, причешетесь, а я приду вас накрасить и зашнуровать корсет».

– Служба ваша начнется после полудня, – сказала Жанна, – в библиотеке подать кофе, ликеры, поддерживать огонь.

– А как же вы? – спросила О.

– Мы? Нам приказано быть с вами только первые сутки, а затем вы останетесь одна и будете иметь дело только с мужчинами. Нам нельзя будет даже разговаривать с вами, и вам это тоже запрещено.

– Подождите, – сказала О, – подождите еще немного и скажите мне...

Но закончить она не успела, дверь открылась. Это был ее любовник, и он был не один. Это был ее любовник, и выглядел он как всегда в такие часы, перед первой утренней сигаретой: пижама в полоску, голубой стеганный халат с шелковыми лацканами, они выбирали его вместе в прошлом году. И те же изношенные туфли, давно пора покупать новые. Женщины тут же испарились – только легкий шелест юбок сопровождал их исчезновение. О с чашкой кофе в левой руке и круассаном в правой сидела на краю кровати почти по-турецки: одна нога свешивалась на пол. Она не сделала ни одного движения; но чашка в ее руке дрогнула, и круассан выпал. «Подними его», – сказал Рене, и это были первые произнесенные им слова. Она поставила на столик чашку, нагнулась за хлебцем, подняла и положила рядом с чашкой. Кусочек круассана остался лежать на ковре возле ее голой ступни. Рене нагнулся сам и подобрал крошки. Сел рядом, опрокинул О на кровать, поцеловал. Она спросила, любит ли он ее. «Конечно люблю», – ответил он и поднял ее, поставил перед собой, прижал губы к прохладным ее ладоням, потом к багровым рубцам на бедрах. Тот, другой человек, повернувшись к ним спиной, покурил возле дверей. Раз он пришел вместе с Рене, подумала О, может быть, на него не запрещено смотреть. Но то, что последовало, все равно не избавило О от неприятностей. «Дай-ка на тебя посмотреть», – сказал любовник и, потянув ее к себе, поставил на пол. Обратившись вдруг к своему спутнику, он заметил, что тот оказался прав, и, поблагодарив, добавил, что по всей справедливости О должна сначала отдаться ему, если он так захочет. Незнакомец, на которого О так и не решилась поднять глаза, подошел, провел рукой по ее груди, по ягодицам и попросил раздвинуть ноги. «Слушайся», – сказал Рене. Он стоял, прижав ее спиной к себе, лаская одной рукой ее груди, а другой поддерживая за плечи. Незнакомый мужчина уселся на край кровати, положил руки на низ живота О и, разыскав в густом руне нижние губы, медленно и широко раздвинул их. Рене обхватил ее обеими руками и подтолкнул вперед, поближе, он понял, чего хотят от его любовницы, и постарался, чтобы мужчине было удобнее воспользоваться добычей. Она всегда отбивалась от этой ласки, ей становилось нестерпимо стыдно, и она спешила поскорее отделаться от нее, так спешила, что почти ничего не успевала и почувствовать; только ощущение совершаемого святотатства: возлюбленный стоит перед нею на коленях, тогда как это она должна преклонять колени перед ним. Но сейчас стало ясно, что ей не избежать этого, и она почувствовала себя пропащей. И потому она застонала, когда чужие губы

прижались к выпуклости лобка, и спустились вниз, и обожгли внезапным огнем ее потаенный венчик, и исчезли, уступив место горячему кончику языка, воспламенившему ее еще больше. И она застонала сильнее, когда губы вновь вернулись в нее; она чувствовала, как твердеет и выпрямляется крохотный бутон, прячущийся в складках ее плоти, как всасывают его в себя, как покусывают, и это был такой долгий и сладкий укус, что она задохнулась и ноги изменили ей. Очнулась она распростертой на спине, рот Рене прижимался к ее рту, а руки его все глубже вдавливали ее плечи в кровать. А в это время другой, взяв под коленки ее ноги, широко развел их и поднял вверх. Заведенных за спину рук О (толкая ее к незнакомцу, Рене успел сцепить сзади браслеты) коснулся кусок чужой плоти, он словно проглаживал расщелину между ягодцами, вырастал, вздымаясь, готовясь погрузиться в ее глубины. И когда он нанес первый удар, она закричала, как при первом ожоге бича, и кричала еще и еще при каждом новом ударе, и ее любовник искусал ей все губы. И вдруг мужчина резко вырвался из нее и, отброшенный на землю, словно ударом молнии, закричал тоже. Рене расцепил руки О, поднял ее, уложил под покрывало, подождал, когда поднимется мужчина, и направился вместе с ним к дверям. И теперь все стало ясно. О увидела себя опустошенной, отверженной, проклятой. Она стонала под губами чужого мужчины так, как никогда не стонала от ласк своего любовника, никогда он не мог вырвать у нее такие крики, какие вырывались у нее под ударами незнакомца. Она осквернена, и прощения ей нет. Он будет прав, если бросит ее. Но нет, дверь снова открывается, он вернулся, он остается с нею. Он залезает к ней под покрывало, гладит по влажному горячему животу, прижимает к себе и говорит: «Я люблю тебя. Когда я отдам тебя еще и слугам, я приду к тебе ночью и засеку тебя в кровь».

Солнце все ярче и ярче освещает комнату, но они спят, и только полуденный звонок их пробуждает.

О не знала, что делать. Ее любовник был здесь, такой же близкий, такой же нежный, как в той комнате с низким потолком, на огромной, красного дерева английской кровати без полога. Он спал с ней в этой кровати почти каждую ночь с тех пор, как они поселились вместе. Обычно он засыпал на левом боку и, просыпаясь среди ночи, сразу же тянулся рукой к ее ногам. Потому-то она и не надевала ночной рубашки, а если была в пижаме, то без панталон.

И сейчас он поступал так же. Она брала его за руку и целовала ее, не решаясь ни о чем спросить. А он говорил. Скользя двумя пальцами под ошейник и поглаживая ее кожу, он говорил, что хочет, чтобы отныне она была общим достоянием и его, и тех, кого он выбрал; да и совсем незнакомых ему, но принадлежащих к обществу замка.

Но только он, он и никто другой – единственный, от кого она зависит, кто бы ни отдавал ей приказы, при нем или в его отсутствие. Потому что он участвует в этом неизбежно, вне зависимости от того, кто предъявляет ей требования и выносит приговор. Это он сам обладает ею и наслаждается ею посредством тех, в чьи руки она отдана. Он участвует в этом самым фактом, что именно он отдал ее в эти руки. Так боги овладевали сотворенными ими смертными под личиной зверя или птицы. Он неразделим с нею. Оттого что он отдает ее кому-то, он еще теснее спаивается с ней. Для него да и для нее это должно быть доказательством, что она принадлежит ему: ведь нельзя отдать то, чем не владеешь. Он отдает ее, чтобы тотчас же получить обратно, и она только возвышается в его глазах после этого; так обыденная вещь, участвуя в священном ритуале, освящается, становится приобщенной к чему-то высшему. Он давно мечтал проституировать ее и так рад теперь, что наслаждение от этого превзошло все его ожидания. Это привязало его к ней еще сильнее и тем сильнее, чем более унижена и истерзана она оказалась. И если она его любит, она должна любить все, что исходит от него. О слушала и трепетала от счастья, оттого, что она его любит и что так легко соглашаться с ним. Он, несомненно, почувствовал ее состояние, потому что сказал: «Оттого что ты легко соглашаешься, я хочу от тебя того, с чем тебе невозможно будет согласиться. Даже если ты примешь это заранее,

даже если скажешь сейчас да и решишь, что способна на это, ты не сможешь не возмутиться. И надо добиться от тебя вопреки твоей воле подчинения не для того, чтобы я или другие, кто будет находиться там, получили не сравнимое ни с чем наслаждение, а для того, чтобы ты прониклась сознанием, что все это совершено тобой». О хотела ответить, что она его раба, что будет носить с радостью любые цепи, но он прервал ее:

– Тебе сказали вчера, что в этом замке ты не должна ни смотреть мужчине в лицо, ни разговаривать с ним. И со мной ты должна молчать и подчиняться. Я тебя люблю. Вставай. Отныне ты будешь открывать рот только для того, чтобы кричать или дарить ласки.

Рене оставался в постели, пока О принимала ванну, причесывалась. Она вздрогнула, когда вода коснулась ее израненных ягодиц, и вытираться ей пришлось осторожно губкой, нельзя было растереться полотенцем. Она покрасила рот, оставила нетронутыми глаза, напудрилась и по-прежнему обнаженная, но со смиренно опущенными глазами вернулась в келью. Жанна стояла возле кровати, глаза ее были также опущены вниз, и она также была бессловесна. Рене лежа разглядывал ее, потом приказал одеть О. Жанна взяла зеленый атласный корсет, белую юбку, платье, зеленые туфли и, застегнув корсет на О спереди, принялась затягивать шнуровку сзади. Корсет был на китовом усе, длинный и жесткий, как во времена осиных талий, с подпорками для груди. Чем туже затягивали корсет, тем выше поднималась грудь, выставляя напоказ соски. Одновременно перетягивалась все больше талия, выпячивая немного живот и сильно оттопыривая ягодицы. Как ни странно, все сооружение было довольно удобным и в известной степени позволяло чувствовать тело свободным. Широкая юбка и особенно корсет с трапециевидным вырезом во всю ширину груди служили, казалось, не для прикрытия женской наготы, а способом ее вызывающего показа. Когда Жанна завязала шнуровку корсета двойным узлом, О взяла цельнокроеное платье и корсаж, более или менее, в зависимости от шнуровки, подчеркивающий линии бюста. Жанна зашнуровала ее очень туго, и О показалась себе в зеркале ванной комнаты, глядевшем на нее через открытую дверь, тоненькой и потерянной среди волн зеленого атласа. Две женщины стояли друг против друга. Жанна потянулась расправить складки на рукаве зеленого платья, и груди ее ожили в кружевах, окаймлявших корсаж, кончики груди были длинные и окружены коричневым ореолом. Рене тут же оказался рядом с женщинами. «Смотри», – сказал он О. «Подними платье», – сказал он Жанне. Желтый шелк платья и батист нижней юбки поплыли вверх, открывая золотистую кожу живота, гладкость бедер и колен, маленький черный треугольник. Одной рукой Рене медленно перебирал завитки волос, другая легла на грудь Жанны.

«Чтобы ты увидела», – сказал он О. И О увидела. Она увидела его лицо, ироничное, но внимательное, глаза, настороженно следившие за полуоткрытым ртом Жанны, за охваченной кожаным кольцом запрокинутой шеей. Разве то наслаждение, что он получал от нее, он не может получать от Жанны, от любой другой девушки? Он снова заговорил. «Ты еще об этом не думала?» – сказал он. Нет, она об этом не думала. Сразу ослабев, она прижалась спиной к стене, бессильно опустив руки. Ему нет нужды напоминать ей о запрете говорить. Что может сказать она? Может быть, ее отчаяние передалось ему, тронуло его, задело. Оставив Жанну, он привлек к себе О, обнял ее; она его любовь, его жизнь, говорил он, повторял, что любит ее. Рука, ласкавшая ее грудь и шею, еще пахла Жанной... А потом?... Отчаяние, охватившее ее, отхлынуло: он любит ее! Да, он ее любит! Он волен наслаждаться Жанной, другими, но любит он ее!

– Я тебя люблю, – прошептала она ему на ухо. – Я тебя люблю, – так тихо, что он едва мог ее расслышать. – Я тебя люблю. – И, только увидев ее проясневшие, сияющие счастьем глаза, он разжал объятия и вышел из кельи.

Взяв О за руку, Жанна вывела ее в коридор. Снова шлепанье туфель по плитам пола и снова слуга, сидящий на скамеечке меж двух дверей. На нем та же одежда, что и на Пьере,

но это не Пьер. Этот высок, худ и черноволос. Он двинулся вперед перед ними и ввел их в некую прихожую, где у кованой железной двери, прикрытой длинной зеленой занавеской, их ожидали двое других слуг. У их ног расположились две белые с подпалинами собаки. «Это выход», – прошептала Жанна чуть слышно, но шедший впереди услышал и резко обернулся. О увидела, как внезапно побледнела Жанна и, отпустив придерживаемый рукой подол платья, упала коленями на черные плиты – пол в прихожей был выстлан черным мрамором. Двое возле двери засмеялись. Один из них подошел к О, попросил следовать за собой и, распахнув дверь в противоположной стене, отступил в сторону. Она услышала за спиной смех, шаги, и дверь закрылась. Она так и не узнала никогда, была ли наказана Жанна за разговоры и как ее наказали. Бросилась ли она на колени перед слугой, подчиняясь какому-то правилу или в надежде смягчить его, что ей и удалось? Однако она заметила во время своего первого, двухнедельного пребывания в замке, что, хотя разговоры были запрещены абсолютно, редко обходилось без нарушения этого запрета во время их постоянных хождений взад и вперед, за едой, когда присутствовали только слуги. Одежда как бы возвращала женщинам уверенность, отнятую у них ночной обнаженностью, ночными цепями и присутствием господ. И еще заметила она, что если малейший жест, который мог походить на попытку как-то сблизиться с кем-нибудь из господ, был совершенно немислим, то со слугами дело обстояло несколько иначе. Эти-то никогда не приказывали, но их очень вежливые просьбы были непрекаемы не менее приказов. Им, очевидно, было предписано, окажись они единственными свидетелями нарушений правил, наказывать провинившуюся немедленно, тут же, на месте преступления. О случилось наблюдать три подобных происшествия: одно в коридоре красного крыла, два других – в столовой, где девушек, уличенных в разговорах, могли бросить на пол и выпороть. Выходило, что вопреки тому, что ей было сказано при поступлении на службу в замок, порка могла произойти и среди бела дня: слуги словно шли не в счет и им предоставлялось действовать по своему усмотрению. Однажды в полдень соседка О по столу, пышная белогрудая блондинка Мадлен улыбнулась О и сказала несколько слов, сказала так быстро, что О ничего не разобрала. Тут же один из таких, в красных рубашках, подскочил к Мадлен уже с бичом в руке и сорвал ее с табурета. Но прежде чем бич коснулся ее, Мадлен была уже на коленях и руки ее ярко белели на черном шелке штанов, под которыми пока еще все отдыхало. Но она выпустила узника на свободу и потянулась к нему раскрытыми губами. В этот раз Мадлен избежала наказания. А так как других надзирателей в тот день в столовой не было и слуга в красной рубашке блаженно зажмурился под ласками Мадлен, девушки смогли наболтаться вволю. Значит, слуг можно было подкупить. Но ради чего? Если и существовало для О трудновыполнимое правило, которое она нарушала нередко, так это запрет смотреть в лицо мужчинам, запрет, относившийся и к слугам. Но именно человеческое лицо возбуждало в О особенный интерес, и потому здесь она находилась под постоянной угрозой. Ее и в самом деле то и дело подвергали наказанию, но, по правде говоря, кары обрушивались на нее не всякий раз, когда ее уличали в пренебрежении правилами (ибо хозяева замка придерживались их не так уж строго, опасаясь, очевидно, чрезмерной пунктуальностью лишить себя приятных возможностей, ведь взгляды, вскинутые вверх, все равно в конце концов обращались книзу), но, несомненно, всегда, когда появлялось желание унижить ее. Но как бы жестоко с ней ни обращались в таких случаях, у нее не хватало смелости или малодушия упасть перед ними на колени; она подчинялась порой, но никогда не молила о пощаде. Соблюдение же молчания, если это не касалось ее общения с любовником, давалось ей легко, и она ни разу не нарушила запрета. Когда другие девушки, воспользовавшись рассеянностью надсмотрщика, заговаривали с нею, она отвечала знаками. Обычно это происходило за едой, в той комнате, куда привел ее однажды тот высокий слуга, что обернулся к Жанне после единственного ее слова. В этой выложенной черным мрамором комнате черными были и стены, и длинный, покрытый толстым стеклом стол, и женщины сидели на круглых табуретах, обшитых черной же кожей. Садясь на них, надо было поднимать платье и

нижнюю юбку, и первое же соприкосновение с гладкой холодной поверхностью вернуло О в тот автомобиль, где она сняла с себя пояс и трусики и передала их любовнику. И наоборот: когда, покинув замок, в своем обычном костюме или повседневном платье О должна будет всякий раз поднимать юбку и комбинации, чтобы опуститься голыми ягодицами на стул в кафе или на сиденье автомобиля рядом с любовником или с кем-то еще, к ней всякий раз будут возвращаться замок, торчащие из шелкового корсета груди, руки и губы, которым позволено все, и грозное молчание. Однако ничто так не помогало ей, как молчание. Да еще цепи. Цепи и молчание, которые должны были бы скрутить О в глубинах ее собственного существа, придушить, подавить ее, напротив, освобождали ее от самого себя. Что бы произошло с ней, если б вернули ее устам речь, а рукам свободу, если бы ей предоставили право выбирать в те минуты, когда ею пользовались другие на глазах у любовника? Она бы смогла, это верно, говорить во время истязаний, но зачем слова там, где слышатся лишь стоны и крики? Вдобавок ей еще затыкали бы рот кляпом. Под взглядами, под руками, под гениталиями, осквернявшими ее, под ударами бича, полосующего ее кожу, она уходила в иступленное забвение самое себя, отдававшее ее любви и, может быть, приближавшее к смерти. Она могла быть кем угодно, быть любой другой девушкой, доступной и взятой силой, как брали и ее самое, как их берут, она видела, она присутствовала при этом, хотя и не должна была помогать насильникам. Вот так, на второй день ее пребывания в замке, когда не истекли еще первые сутки, она была после завтрака приведена чернявым слугой в библиотеку, чтобы прислуживать за кофейным столом и поддерживать огонь в камине. С нею были Жанна и другая девушка по имени Моника. Слуга, приведший их, остался и занял место возле памятного О столба. Библиотека была еще пуста. Большая застекленная дверь выходила на запад. Солнце осени медленно плыло по огромному, чуть тронутому облаками мирному небу; солнечные лучи ложились на широкий комод, на большой букет пахнущих землей и опалыми листьями хризантем. «Пьер ставил вам знаки вчера вечером?» – спросил слуга. О ответила кивком. «Надо бы их показать, – сказал слуга. – Собираетесь поднять платье». Он ждал, пока, закручивая платье, как это проделывала накануне Жанна, О обнажится до пояса, и попросил разжечь огонь. В узорчатой рамке зеленого шелка и белого батиста показались ягодицы О, ее бедра, ее точеные ноги. И пять почерневших рубцов. Дрова в камине уже были подготовлены. О поднесла спичку к пучку соломы, положенному под тоненькие ветки. Яблоневые ветви вспыхнули сразу же, потом занялись дубовые поленья. Отблески огня были почти невидимы в ясном свете дня, но запах горящих поленьев поплыл по комнате. Вошел еще один слуга, убрал с консоли лампу, поставил на ее место поднос с чашечками для кофе и удалился. О подошла к консоли, Жанна и Моника застыли по обе стороны камина. В библиотеку вошли двое мужчин, и в ту же минуту первый слуга отправился следом за своим товарищем. Одного из вошедших О как будто узнала по голосу: это он предлагал как-нибудь облегчить доступ к О сзади. Разливая кофе по черным с золотом чашечкам, О украдкой рассматривала его. Ее насильник оказался худощавым светловолосым малым, похожим на англичанина. Он заговорил снова: да, это, конечно, он брал ее накануне сзади. Второй был тоже блондин, но приземист и широк в плечах. Сидя в глубоких кожаных креслах ногами к огню, они спокойно курили, листали газеты и не обращали ни малейшего внимания на женщин, словно их здесь и не было. Слышался шелест страниц и потрескивание поленьев в камине. Временами О подбрасывала дров в огонь. Она сидела на брошенной на пол подушке рядом с большой корзиной дров, Моника и Жанна – на полу, лицом к ней. Юбки их, расстеленные по полу, смешались в разноцветный узор, где выделялся густо-красный цвет Моника. Так прошел час. Вдруг худощавый блондин подозвал Жанну, а следом за ней и Моника. Он сказал им принести пуф (тот самый, на который ничком была брошена накануне О). Не ожидая последующих приказаний, Моника опустилась на колени, прижалась грудью к черному меху пуфа и обхватила его обеими руками. И когда Жанна по приказу молодого «англичанина» задрала красную юбку Моника, та даже не шевельнулась. Жанне еще пришлось, повинуясь новому

распоряжению, высказанному в точных и самых непристойных выражениях, раздеть мужчину и взять в руки его одушевленный меч, которым так жестоко, по крайней мере единожды, была пронзена О. Он, выросший и напрягшийся, торчал из крепко сжатой ладони, и те же руки, маленькие ручки Жанны, раздвинули ляжки Моники. О видела, как медленно, маленькими ударами погружался в расселину между ними «англичанин», и слушала стоны Моники. Другой мужчина, молча наблюдавший за этой сценой, подал О знак приблизиться и, все не отрывая взгляда от слившейся пары, опрокинул ее на подлокотник кресла. Поднятая юбка обнажила во всю длину ягодицы О, но в распоряжении мужчины оказался и низ ее живота, куда он немедленно водрузил вторую руку. Так и застал их вошедший минутой позже Рене. «Не беспокойтесь, прошу вас», – проговорил он, опускаясь на подушку, только что покинутую О. Моника уже давно поднялась, Жанна сидела возле камина, сменив О.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.